

**Т. А. Снигирева, А. В. Подчиненов**

# **ВЕК XIX И ВЕК XX РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: РЕАЛЬНОСТИ ДИАЛОГА**

**УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ**

**Книга доступна в электронной библиотечной системе  
[biblio-online.ru](http://biblio-online.ru)**

**Москва ■ Юрайт ■ 2018  
Екатеринбург ■ Издательство Уральского университета**

УДК 821.161.1(075.8)  
ББК 83.3(2)6я73  
С53

**Авторы:**

**Снигирева Татьяна Александровна** — профессор, доктор филологических наук, профессор Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина;

**Подчиненов Алексей Васильевич** — доцент Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.

**Рецензент:**

*Кубасов А. В.* — доктор филологических наук, профессор Уральского государственного педагогического университета.

**Снигирева, Т. А.**

С53      **Век XIX и век XX русской литературы: реальности диалога : учеб. пособие для вузов / Т. А. Сниги** **В01** **Подчиненов.** — М. : Издательство Юрайт, 2017 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 198 с. — (Серия : Университеты России).

ISBN 978-5-534-05987-8 (Издательство Юрайт)

ISBN 978-5-7996-0394-6 (Изд-во Урал. ун-та)

Серия «Университеты России» позволит высшим учебным заведениям нашей страны использовать в образовательном процессе издания (в том числе учебники и учебные пособия по различным дисциплинам), подготовленные преподавателями лучших университетов России и впервые опубликованные в издательствах университетов. Все представленные в этой серии работы прошли экспертную оценку учебно-методического отдела издательства и публикуются в оригинальной редакции.

В монографии представлено сравнительное историко-типологическое исследование ключевых проблемных узлов русской литературы, которые составляют своеобразный диалог, основанный на единстве и дискретности веков XIX и XX: психологического портрета нации, концепции человека и того сакрального значения Слова, которое было присуще отечественной литературе в ее классические эпохи. Формула «нация — личность — литература» соотносится в книге с базовой метафизической триадой русской культуры «истина — добро — красота», что позволяет по-новому представить эстетическое, эпистемологическое и этическое единство русской литературы.

*Издание адресовано специалистам-филологам, студентам, преподавателям и всем, кто интересуется русской литературой.*

УДК 821.161.1(075.8)

ББК 83.3(2)6я73



*Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая компания «Дельфи».*

ISBN 978-5-534-05987-8  
(Издательство Юрайт)  
ISBN 978-5-7996-0394-6  
(Изд-во Урал. ун-та)

© Снигирева Т. А., Подчиненов А. В., 2008  
© Уральский федеральный университет, 2008  
© ООО «Издательство Юрайт», 2018

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                |   |
|----------------|---|
| Введение ..... | 4 |
|----------------|---|

### Часть 1. «МЫ ЖИВЫ, ПОКАМЕСТ...»: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ НАЦИИ

|  |    |
|--|----|
| Глава 1. «Мысль семейная» в русской литературе: императив возвращения .....                                    | 11 |
| § 1. «Сын за отца не отвечает?»: комплекс безотцовщины .....   | 11 |
| § 2. Тимур и Павлик: политический миф и реальность литературы .....  | 19 |
| § 3. «Злой мальчик», инфантильное сознание и «зло душевной жизни» .....  | 29 |
| § 4. «Вы мужчина или женщина? — Какая разница, товарищ?»:<br>художественная интерпретация женской судьбы ..... | 46 |
| Глава 2. Два века литературы — две концепции труда .....   | 60 |
| Глава 3. «Освобождение от страха»: война — национальное<br>самосознание — литература .....                     | 72 |

### Часть 2. «МЫ ЖИВЫ, ПОКАМЕСТ ЕСТЬ ПРОЩЕНИЕ...»: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЛИЧНОСТИ

|  |     |
|--|-----|
| Глава 1. Сердце матери в рассказе А. Платонова «Третий сын»<br>и цикле А. Твардовского «Памяти матери» ..... | 79  |
| Глава 2. Типология героя: единство многообразия и многообразие<br>единства .....                             | 95  |
| Глава 3. «Гражданин мира» как категория и как знаковый образ<br>русской литературы .....                     | 108 |
| Глава 4. Русский писатель: тип творческого поведения .....   | 119 |

### Часть 3. «МЫ ЖИВЫ, ПОКАМЕСТ ЕСТЬ ПРОЩЕНИЕ И ШРИФТ»: РУССКИЙ ЛОГОЦЕНТРИЗМ

|   |     |
|---|-----|
| Глава 1. Судьба «толстого» журнала в России .....   | 134 |
| Глава 2. Жанр записных книжек в русской литературе: от документального<br>к художественному .....                   | 150 |
| Глава 3. «И тоны музыки земной»: натурофилософия итоговых книг<br>русской лирики .....                              | 169 |
| Глава 4. «Вечные собеседники»: библейский и пушкинский эпиграф<br>в творчестве Ф. Достоевского и А. Ахматовой ..... | 183 |
| Заключение .....  | 197 |

## ВВЕДЕНИЕ

Реальности диалога и диалог реальностей русской литературы — вот внутренний сюжет данной книги. Он основан на традиционном восприятии истории русской литературы XIX—XX веков как непрерывного целостного процесса, не лишённого, безусловно, внутренних противоречий, которое влечет за собой необходимость анализа того *стабильного/изменчивого*, что составляет ее суть. Характер такой интерпретации художественного сознания предполагает исследование, прежде всего, эволюции русской литературы, ее образного и предметного мира. Между тем, филологическая мысль, как отечественная, так и зарубежная, по разным, в том числе и внелитературным, причинам порой констатировала *дискретность*, разрыв в развитии культуры двух веков. Характерна в этом смысле позиция Г. Струве, который, осмысляя судьбу русской культуры в XX веке, настаивал на существовании двух суверенных потоков в ней. По его мнению, лишь в эмиграции литература наследовала и реально сохранила гуманистические традиции русской классики, которые, под давлением политических доктрин, были односторонне истолкованы и, в конечном счете, извращены в литературе советской, именно поэтому «воды этого, отдельно текущего за пределами России потока, пожалуй, больше будут содействовать обогащению этого общего русла, чем воды внутрироссийские»<sup>1</sup>.

Чисто внешне, декларативно советское литературоведение провозглашало связь литературы советской эпохи с традициями русской классики, но само понимание традиций корректировалось ленинским учением о существовании двух культур в рамках одной национальной культуры, и в разнообразном художественном наследии XIX века главным образом выделялась так называемая ре-

волюционно-демократическая линия. По существу, официальное литературоведение, отстаивая новый принцип осмысления действительности, — социалистический реализм, призывая изображать жизнь в «революционном развитии», фактически толкало художника к разрыву как с духовным наследием прошлого, так и к отходу от традиций собственно реалистического искусства: необходимо было изображать должное, но не сущее.

А. Синявский в знаменитой статье «Что такое социалистический реализм?» (1958) ставит весьма жесткий диагноз новой литературе: «Это не классицизм и не реализм. Это полуклассицистическое полуискусство не слишком реалистического совсем не реализма»<sup>2</sup>. В этом же ряду стоят утверждения о глобальном процессе подмены русской ментальности советской в середине XX века: «Можно смеяться над творцами концепции “советского народа как новой исторической общности”. Можно плакать над народами советской империи, растворившими кристаллы своего этнокультурного бытия в царской водке коммунизма. Но такая нация — была. Она окончательно сформировалась в 1941—1945 годах, когда народ выступил на стороне большевиков. Война подтвердила властные полномочия наследников Ленина, узаконила их на самом верном референдуме»<sup>3</sup>.

На наш взгляд, тезис о полном разрыве двадцатого века с культурными ориентирами многовековой истории России, нашедший свое распространение и в массовом сознании, требует серьезной корректировки.

Во-первых, «органического единства» русской истории, а следовательно, и русской культуры, по точному замечанию Н. Бердяева, не было никогда: «Историческая судьба русского народа была несчастной и страдальческой, и развивался он катастрофическим темпом, через прерывистость и изменение типа цивилизаций... В истории мы видим пять разных России: Россию киевскую, Россию татарского периода, Россию московскую, Россию петровскую, имперскую и, наконец, новую советскую Россию»<sup>4</sup>.

Во-вторых, при всей прерывистости, катастрофичности своей истории Россия, по определению Н. Бердяева, является страной старой культуры, и духовное единство русского культурного и ли-

тературного движения, безусловно, не однолинейное, сложное, противоречивое, все же несомненно.

Именно литература XIX века совпала с эпохой формирования и становления «русскости» как особого явления психолого-исторического характера. Соприкасаясь с историческим движением России (декабризм, нигилизм, народничество, первые революционеры марксистского толка), отражая политические борения общества (например, спор западников и славянофилов), во многом опережая русскую философскую мысль этого периода (идея особой предопределенности русской судьбы, мессианства, эсхатологическая идея), русские писатели создали свой образ России и русского человека. Эволюция русского сознания в этот период связана с осмыслением христианства в его православном варианте.

Процессы, происходившие в сознании русского народа, остаются важнейшими и для художественных исканий XX века. Но концепция русской исторической судьбы и, как следствие, русского национального характера приобретает иное наполнение, что связано с очередным резким и существенным изменением коренных принципов жизнеустройства общества. Особая сложность исследования проявления национального самосознания применительно к литературе XX века обусловлена тем, что в ней нет однонаправленности движения. Уникальность историко-литературного процесса в России XX века — в его очевидной драматичности, внутренней конфликтности. Никогда русская литература, при всей ее принципиальной приближенности и интересе к жизни общества, не несла на себе такой явный, прямой отблеск трагедии действительности, самой литературы, трагедии литературных судеб. Условно можно выделить три направления, в русле которых и развивалась отечественная словесность прошлого столетия:

— официальная советская литература (литература социалистического реализма, государственная литература, политизированная, идеологизированная литература, литература — «метафора власти» и т. д.), представляющая так называемую «советскую классику»;

— литература духовной оппозиции («теневая», «подпольная», альтернативная, литература духовного сопротивления и т. д.),

дававшая пример «свободного писания в несвободное время» (М. Чудакова), создававшаяся вне зависимости от возможности публикации;

— литература русского зарубежья, которую, как уже говорилось, многие, и прежде всего зарубежные исследователи, считают единственной хранительницей духовных заветов русской классической литературы XIX столетия.

Для нас является принципиально важной мысль о том, что при всей существенности выделения трех пластов, направлений, блоков в литературе XX столетия, оно все же относительно и не дает представления о сложном переплетении, «скрещении судеб» ее служителей в этом столетии. Так, внутри одного художественного пласта создавались произведения, которые можно без каких-либо натяжек отнести то к «официальной литературе», то к литературе духовной оппозиции. Здесь многое зависело от индивидуальной судьбы писателя. Непреодолимая пропасть лежит между публицистикой Горького периода революции и его статьями 1930-х годов: мировоззренческая, идеологическая, политическая позиция писателя в «Несвоевременных мыслях» и его взгляды, отразившиеся в статье «С кем вы, мастера культуры?», диаметрально противоположны. То же можно сказать о «Тихом Доне» и «Поднятой целине» М. Шолохова, романах К. Федина «Города и годы» и «Костер», то же, но как бы с обратным знаком, о «Стране Муравии» и «По праву памяти» А. Твардовского, романах «За правое дело» и «Жизнь и судьба» В. Гроссмана, «Коллегах» В. Аксенова и его романах «Ожог» и «Остров Крым».

Принцип публикации/непубликации не всегда может быть решающим при оценке произведения и отнесении его к тому или иному направлению. Скажем, писатели-шестидесятники — Ю. Трифонов, В. Шукшин, Ю. Казаков, В. Быков, В. Белов, В. Астафьев — смогли, иногда ценою цензурных уступок и купюр, опубликовать многие свои произведения, которые несли неадаптированную правду о той трансформации, что произошла в народном самосознании в XX столетии<sup>5</sup>.

Соотношение понятий «литература советской эпохи» и «советская литература» не столь очевидно, как еще совсем недавно каза-

лось. И дело не только в том, что между ними не может быть знака равенства, но в том, что это отношение целого и части с обязательными элементами интерференции.

Философская мысль не прошла мимо проблемы сложного перехода, связи и трансформации, частичного подавления русского сознания советским. Н. Бердяев в цитируемой выше книге показал логический крах концепции русского мессианства, реализовавшийся в замене христианской веры коммунистической, где миф о народе превращается в миф о пролетариате, мысль о соборности как особой черте русского духа — в идею социалистического коллективизма<sup>6</sup>.

Н. Лосский в книге «Характер русского народа», исследуя такие черты русской ментальности, как религиозность, способность к высшим формам опыта, особое соотношение чувства и воли, свободолюбие, доброта, даровитость, своеобразный мессианизм и миссианизм и одновременно с этим недостаток средней области культуры, нигилизм, хулиганство, все же не забывает акцентировать внимание не только на изменчивом, но и на том стабильном, что остается в русском складе характера в послереволюционную эпоху. С одной стороны, философ убежден в том, что революция усилила худшие стороны русского народа, свойственные ему, впрочем, всегда: «Экстремизм, максимализм, требование всего или ничего, невыработанность характера, отсутствие дисциплины, дерзкое испытание ценностей, анархизм, чрезмерность критики могут вести к изумительным, а иногда и опасным расстройством частной и общественной жизни, к преступлениям, бунтам, к нигилизму, к терроризму. Большевицкая революция есть яркое подтверждение того, до каких крайностей могут дойти русские люди в своем смелом испытании новых форм жизни и безжалостном истреблении ценностей прошлого. Поистине Россия есть страна неограниченных возможностей, и прав был французский историк Моно, сказавший, что русский народ — самый обаятельный, но и самый обманчивый»<sup>7</sup>. С этими размышлениями, безусловно, солидаризируются и Горький периода «Несвоевременных мыслей», и Бунин, который в «Окаянных днях» пишет: «Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, а в другом — Чудь, Меря. Но в том и другом есть



страшная переменчивость настроений, обликов, “шаткость”, как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: “Из нас, как из дерева, — и дубина, и икона — в зависимости от обстоятельств, от того, кто это дерево обрабатывает: Сергей Радонежский или Емелька Пугачев”»<sup>8</sup>.

Но, с другой стороны, памятуя о том, что отрицательные свойства русского народа представляют собой не первичную, основную природу его, а возникают как оборотная сторона положительных качеств или даже как извращение их, Н. Лосский в финале своей книги выражает надежду, что русский народ еще может стать «в высшей степени полезным сотрудником в семье народов на пути осуществления максимального добра, достижимого в земной жизни»<sup>9</sup>.

Тем не менее, несмотря на диалектичность подобных суждений, они открывают дорогу жесткой конфронтации двух художественных культур<sup>10</sup>.

Между тем, реальное содержание историко-литературного процесса XIX и XX веков, осмысленное непредвзято и в основных, сущностных его проявлениях и закономерностях, свидетельствует о том, что единый поток художественной мысли не был окончательно прерван революцией, но продолжался в литературе эмиграции, в литературе духовного сопротивления и в литературе официальной.

Проблема единства/дискретности русской литературы XIX—XX веков является основной для научного сюжета данной работы. Однако, как известно, явление богаче закона, а Книга литературы богаче ее Чертежа. Поэтому данная монография не претендует на исчерпанность решения и полноту осмысления обозначенной проблемы. В ней намечены «силовые линии», векторы диалога века XIX и века XX: психологический портрет нации, концепция человека и то сакральное значение Слова, которое было присуще отечественной литературе в ее классические эпохи. В качестве названия частей мы позволили себе разбить единую строку И. Бродского — «Мы живы, покамест есть прощенье и шрифт» — на три фрагмента, полагая, что она является онтологической формулой единства нации, личности и художника. Кроме того, эта строка,

на наш взгляд, позволяет вспомнить о платоновском триединстве Красоты, Истины и Добра, составляющем Гармонию, что означает эстетическое, эпистемологическое и этическое единство русской литературы.

---

<sup>1</sup> Струве Г. Русская литература в изгнании // Опыт исторического обзора зарубежной литературы. Париж, 1984. С. 7.

<sup>2</sup> Снявский А. Что такое социалистический реализм // Цена метафоры, или Преступление и наказание Снявского и Даниэля. М., 1990. С. 457.

<sup>3</sup> Драгунский Д. Нация и война // Дружба народов. 1992. № 10. С. 176—177.

<sup>4</sup> Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 7.

<sup>5</sup> См. об этом подробнее: Быков Л. П., Подчиненов А. В., Смигирева Т. А. Русская литература XX века: Проблемы и имена. Екатеринбург, 1994. С. 3—6.

<sup>6</sup> См.: Бердяев Н. А. Указ. соч. С. 119, 126, 152—153.

<sup>7</sup> Лосский Н. О. Характер русского народа: В 2 кн. Франкфурт, 1957. Кн. 2. С. 85.

<sup>8</sup> Бунин И. А. Окаянные дни // Литература русского зарубежья: Антология: В 6 т. Т. 1. Кн. 1. 1919—1925. М., 1990. С. 70.

<sup>9</sup> Лосский Н. О. Указ. соч. С. 85.

<sup>10</sup> Так складываются две модели взаимоотношения «русской» и «советской» литератур: традиционное нравственно-религиозное художественное сознание нации или умирает, превращаясь в безоговорочно советское (см.: Добренко Евг. Метафора власти: литература сталинской эпохи в историческом освещении. Мюнхен, 1993), или вступает в непримиримый конфликт с советским (см.: Есаулов И. А. Сатанинские звезды и священная война: Современный роман в контексте русской духовной традиции // Новый мир. 1994. № 4. С. 224—239).

# ЧАСТЬ 1

## «МЫ ЖИВЫ, ПОКА МЕСТ...»: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ НАЦИИ

### ГЛАВА 1

#### «МЫСЛЬ СЕМЕЙНАЯ» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: ИМПЕРАТИВ ВОЗВРАЩЕНИЯ

##### § 1. «Сын за отца не отвечает?»: комплекс безотцовщины

Анализ некоторых социокультурных понятий позволяет лишний раз подтвердить гипотезу о «прерывистой непрерывности» русской литературы. Понятие «безотцовщины», как его принято воспринимать в литературе советской эпохи, в литературе классической, по сути дела, отсутствует. Начиная с «Поучения» Владимира Мономаха, литература была озабочена проблемой духовной преемственности, духовного отцовства. В XIX веке утрата и обретение нравственного родства и взаимопонимания приобретают и социально-историческую, и религиозно-онтологическую перспективу. Достаточно вспомнить романы И. С. Тургенева и, в особенности, Ф. М. Достоевского. Без осознания духовной близости с отцом (что актуализирует весь религиозно-этический комплекс: сострадание, милосердие, раскаяние, покаяние и т. д.) оказывается невозможным процесс самосознания и самопознания. Проблема отцовства и безотцовщины явно тяготеет к сакральным отношениям Бога-Отца

и Бога-Сына. Даже намеренное игнорирование этой ситуации (в произведениях писателей-демократов) не переводит ее в иную плоскость.

Но в силу того, что движение национальной жизни в XX веке происходило путем катастроф и сломов, резких изменений в рамках жизни одного поколения, литература сконцентрировала свое внимание на «мысли семейной» в весьма своеобразном аспекте. Для XX века прототипичным становится не роман «Анна Каренина», но роман «Отцы и дети», порой — «Тарас Бульба».

Для уточнения необычности ситуации и в жизни, и в литературе советской эпохи есть смысл обратиться к работе М. Мид «Культура и мир детства», предлагающей оригинальную концепцию типа культур с точки зрения преемственности поколений. Американская исследовательница выделяет три типа культуры: *постфигуративная*, *конфигуративная* и *префигуративная*. *Постфигуративная* — это такая культура, где «каждое изменение протекает настолько медленно и незаметно, что деды, держа в руках новорожденных внуков, не могут представить для них никакого иного будущего, отличного от их собственного прошлого»<sup>1</sup>. *Конфигуративная* — это культура, в которой «преобладающей моделью поведения для людей, принадлежащих к данному обществу, оказывается поведение их современников»<sup>2</sup>. *Префигуративная* культура — это культура, в которой взрослые учатся у молодых: «Еще совсем недавно старшие могли говорить: «Послушай, я был молодым, а ты никогда не был старым». Но сегодня молодые могут им ответить: «Ты никогда не был молодым в мире, где молод я, и никогда им не будешь»<sup>3</sup>.

В случае преобладания префигуративной культуры в обществе с безусловностью намечается конфликт между поколениями. Префигуративная ситуация в судьбе России XX века и, как следствие, в литературе складывалась, по крайней мере, трижды. Первый раз в результате революции и Гражданской войны. Это поколение, вошедшее в жизнь в 1920—1930-е годы. Тогда была совершена попытка подмены кровного отцовства государственным. Феномен Павлика Морозова — крайний, а потому весьма показательный случай: значимость его даже не в поступке ребенка, а в канонизации его обществом. В 1930-е годы утверждается примат государственного над индивидуальным, законность растворения «я» в «мы», что,

в частности, проявляет себя в строгой иерархии принадлежности человека сначала обществу, а уж потом родным: «Мужеством, доблестью, силой / Будешь ты многих славней, / Сын моей родины милой, / Мой и подруги моей» (А. Твардовский). Так, например, в это время берет начало ложно-двойственное определение Твардовским своего происхождения, официально выразившееся в том, что в автобиографии, изданной в миллионных тиражах, он — «сын кузнеца», а в одном экземпляре учетной карточки коммуниста — «сын кулака». С горьким сарказмом вспомнит Твардовский наставления одного из «лучших учеников товарища Сталина», впоследствии разоблаченного как «врага народа», а спустя десятилетия по-смертно реабилитированного, — слова, сказанные молодому поэту в 1931 году: «Бывают такие времена, когда нужно выбирать между папой-мамой и революцией»<sup>4</sup>.

Второй раз префигуративная ситуация актуализируется в результате массовых репрессий 1930-х и Великой Отечественной войны. Это поколение «оттепели» и позднего шестидесятничества. Третья префигуративная ситуация («ты никогда не был молодым в мире, где молод я») складывается на наших глазах и является следствием крупных изменений в обществе, начавшихся в середине 1980-х годов. Постсоветская эпоха создает новый тип отношений «отцов и детей» (поколение конца 1990-х гг.), который выражается в постоянном эмоциональном восклицании: «Они совсем другие!» Отсутствие диалога между поколениями, столкнувшимися на грани веков («я их не понимаю» — реплика старших, «они меня не понимают» — реплика младших), очевидно.

В 1920—1930-е годы префигуративный конфликт, явившись основой сюжетных коллизий многих произведений, нередко носил трагический характер смертельного противоборства отца и сына. Один из ярчайших примеров — рассказ «Родинка» из «Донских рассказов» М. Шолохова. Уже в этом раннем произведении очевидны общегуманистические истоки позиции писателя. Во-первых, убийство сына свершается по отцовскому неведению, оно — результат трагического стечения обстоятельств, спровоцированных самой сутью гражданской войны, когда «брат шел на брата», «отец на сына». Во-вторых, чрезвычайно важен момент узнавания/прозрения: отец осознает весь ужас случившегося по «с голубиное

йцо» родимому пятну. Родинка, родимый, родной — своя кровь, безусловный знак принадлежности к своему роду, корню, знак, который не может быть смыт даже кровью. Наконец, третье: гибель сына заставляет атамана в одно мгновение забыть о борьбе за ту идею, которая и привела его к убийству, заставляет отца понять, что его существование в этом мире уже бессмысленно:

Медленно, словно боясь разбудить, вверх лицом повернул холодеющую голову, руки измазал в крови, выползавшей изо рта широким бугристым валом, всмотрелся и только тогда плечи угловатые обнял неловко и сказал глухо:

— Сынок!.. Николушка!.. Родной!.. Кровинушка моя...

Чернея, крикнул:

— Да скажи же хоть слово!.. Как же это, а?

Упал, заглядывая в меркнувшие глаза; веки, кровью залитые, приподнимая, тряс безвольное, податливое тело... Но накрепко закусил Николка посинелый кончик языка, будто боялся проговориться о чем-то неизмеримо большом и важном.

К груди прижимая, поцеловал атаман стынувшие руки сына и, стиснув зубами запотевшую сталь маузера, выстрелил себе в рот...<sup>5</sup>

В силу своей особой тяжести литература использовала такой крайний вариант разрыва связей поколений, как убийство, преимущественно только в 1920-е годы («Всадники» Яновского, «Конармия» Бабеля). В пору внешней стабилизации новой государственности, появления оттенка ретроспективности в описании кровавых событий революции и Гражданской войны, а также обращения к повествованию о «строительстве нового общества» конфликт «отцы и дети» стал фоновым, периферийным. Точнее, в 1930—1950-е годы происходит своеобразная подмена: отцом становится не отец по крови, но отец по идее — коллектив, общество, государство, вождь. В это время на авансцену легального литературного процесса выходит жанр, обретший в советскую эпоху новую жизнь — жанр романа воспитания: «Человек меняет кожу» Б. Ясенского, «Рожденные бурей» и «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Поднятая целина» М. Шолохова, «Педагогическая поэма» А. Макаренко. Не случайно, что в переводе на один из иностранных языков в названии шолоховского романа актуализируется момент изменения, «перепахивания» человека при новом типе жиз-

неустройства: «Целина поднятых душ». Элементы жанра романа воспитания сильны и в других произведениях этих лет: от «Разгрома», «Чапаева» до «Хождения по мукам». Пафос большинства названных книг очевиден: перевоспитание человека в ходе революционного преобразования мира. Морозка («Разгром») от человека, способного на воровство, превращается в личность, готовую пожертвовать собственной жизнью во имя спасения своих товарищей. Сброд малолетних преступников — в слаженный, продуктивно функционирующий коллектив детской колонии имени А. М. Горького («Педагогическая поэма»). Стихийный бунтарь за справедливость — в дисциплинированного партийца, сумевшего преодолеть свой физический недуг ради стремления быть «полезным бойцом» нового общества («Как закалялась сталь»). Сомневающиеся и мечущиеся в революции Катя и Даша Булавины, Вадим Рошин и Иван Телегин волею автора в финале романа «Хождение по мукам» предстают людьми, обретшими смысл жизни, в общем порыве приветствующими ленинский план ГОЭЛРО.

Однако необходимо отметить, что чуткая русская литература в своем неофициальном изводе не могла не отреагировать на далеко идущие для нации последствия ситуации «подмены». Достаточно вспомнить ее саркастическое пародирование в «Собачем сердце» М. Булгакова, где Швондер изображен как представитель нового государства, берущий на себя миссию воспитания «нового человека» — Шарикова.

Есть смысл сказать и о драматической судьбе таких книг, как «Педагогическая поэма» и «Как закалялась сталь». Одна стала своеобразной инструкцией для советской педагогики, другая — каноническим текстом соцреализма. Оба произведения открыто биографичны, по-своему правдивы, как могут быть правдивы книги, в основу которых положен неповторимый индивидуальный опыт. Но с течением времени романы усилиями официальной критики были превращены в эталоны, что уже в 1960-е годы стало вызывать негативное отношение и к книгам, и к их авторам. Точно по поводу «Как закалялась сталь» заметил Твардовский: «По этому роману можно учиться жить, но учиться писать по нему — нельзя». Не нужно забывать и о том, что А. Макаренко четко осознавал специфику объекта своих педагогических новаций — малолетние преступники,

лишенные дома, семьи, отцов и матерей — и отнюдь не предполагал, что его методы будут применяться при воспитании нескольких поколений советских детей: «пение хором» (М. Булгаков), хождение в столовую строем, абсолютная зависимость личности от «отряда» (= коллектива).

Шестидесятничество, принципиально отказавшееся от наиболее жестких идеологических доктрин советской государственности, поворачивает проблему «отцов и детей» своей стороной.

Так, любя А. Твардовского как поэта и как человека и пытаюсь обозначить нити психико-социальной близости с ним, Ю. Трифонов выходит к размышлениям о комплексе нескольких поколений советских людей — комплексе безотцовщины. Сыновья теряли своих отцов на Гражданской, Отечественной войнах, теряли или, что страшнее, были вынуждены отказываться от них в годы Великого перелома, репрессий 1930-х годов. «И тут я впервые понял, — пишет Ю. Трифонов, — что то, что случилось с его отцом и что случилось с моим, — части единого целого российской трагедии. Это связано, слитно, это по какому-то высшему счету *одно и то же* (выделено автором. — Т. С., А. П.)»<sup>6</sup>.

Один из самых сильных, открыто-личностных фрагментов мемуарной книги «Записки соседа» — описание горя и раскаяния Твардовского:

Он говорил, как отец прощался, как его уводили... И в голосе его была открытая боль, что меня поразило, ведь он старше меня и разлука произошла давно, двадцать лет назад, а у меня тринадцать лет назад, но я думал об отце гораздо спокойней. Боли не было, засохла и очерствела рана. А он плакал.

— Наделали дел, бог ты мой! Старика, который всю жизнь трудился, — шептал еле слышно. — Помню его руки, рабочие, на столе — в мослах, в мозолях...

О чем он плакал? О безвозвратном детстве? О судьбе старика, которого он любил? Или о своей собственной судьбе, столь разительно отличной от судьбы отца? С юных лет слава, признание, награды, и все за то, что в талантливых стихах воспел то самое, что сгубило отца. Он плакал, не замечая меня, наверно, и забыл, что сижу рядом. А я подумал: мы оба дети репрессированных. И пусть он наверху, на Олимпе, а я внизу в жалкоге, но некая печать отвер-



женности лежит на нас обоих. От этого вовсе не было горько, наоборот — было как-то покойно, тепло<sup>7</sup>.

Комплекс «безотцовщины» — одна из важнейших составляющих художественного сознания «оттепели» и, естественно, один из ведущих мотивов литературы «Нового мира»: от «Тишины» Ю. Бондарева до «Белого парохода» Ч. Айтматова (номер с этой повестью — последний, подписанный Твардовским), от рассказов Ф. Искандера до прозы Ю. Трифонова.

Комплекс «безотцовщины» пронизал всю культуру «оттепели» особой, болевой, порой безысходной интонацией. Вспомним знаменитую сцену кинофильма 1960-х «Мне 20 лет», в которой происходит воображаемый разговор сына с отцом, погибшим на войне:

— Я хотел бы тогда бежать рядом, — сказал Сергей.

— Не надо...

— А что надо?

— Жить.

— Да. А как? — сказал Сергей.

Солдат встал, оглянулся. Двое других ждали его у дверей блиндажа.

— Сколько тебе лет? — спросил солдат.

— Двадцать три.

— А мне двадцать один. Как я могу тебе советовать?<sup>8</sup>

Такой же, исполненный напряженного драматизма внутренний диалог, и это становится потаенным сюжетом книги, ведет со своим отцом Ю. Трифонов в документальной повести «Отблеск костра». Те же вопросы о том, как жить, постоянно задает своему отцу Мальчик из «Белого парохода». Отцу и отцовскому клану посвящена мемуарная книга Б. Окуджавы «Несостоявшийся театр».

Только в одном случае понятие безотцовщины не связывалось со своеобразным комплексом неполноценности — если отец погиб на войне: «Вдруг его впервые обожгла, заставила сжать зубы простая, ясная мысль. Никогда раньше не приходила она в голову. Здесь, на его родине даже кладбище только женское. Он вдруг вспомнил, что в его родословной ни одного мужчины нет на этом холме. <...> А может быть, придет и его черед? Идти дорогой мужских предков, к чужим неродимым холмам?»<sup>9</sup>, — вопрошает, прозревая, ге-

рой рассказа В. Белова «На Росстанном холме». Гибель отца на войне трагична, но и величественна одновременно, она наполняет сердце сына гордостью, дает ощущение устойчивости, значимости *своего* существования на земле.

Но в 1960-е годы мотив безотцовщины сопрягается с неведомым до этого отечественной литературе комплексом «виноватого без вины», стыда, тайны, предательства.

Так сложилось в истории литературы советской эпохи, что многие ее творцы были сыновьями «без вины виноватых»: А. Твардовский, Ю. Трифонов, Ч. Айтматов, Б. Окуджава, Ф. Искандер, В. Аksenov. Образа отца, наставника, мудрого советчика, сопровождающего сына, «выпускающего» его в жизнь, нет в произведениях этих авторов (государство в этой роли было уже решительно отвергнуто). Но есть сильнейший мотив памяти об отце. Герой с особым, тайным грузом памяти буквально выброшен в этот мир и должен все решать сам, сам делать выбор, сообразуясь с интуитивными понятиями долга, совести, доброты. *Врожденные*, что подчеркивается почти всеми художниками, человеческие черты проходят испытание миром, который живет не по человеческим законам. Названной коллизией движимы такие разные по своим художественным устремлениям произведения, как «Дом на набережной» Ю. Трифонова, «Дни и ночи Чика» Ф. Искандера, «Ранние журавли» Ч. Айтматова, «Последний поклон» В. Астафьева, «исповедальная проза» «Юности» (В. Аksenov, А. Кузнецов, А. Гладилин). Безусловно, высшей точкой этого ряда произведений стала повесть Ч. Айтматова «Белый пароход» с ее трагическим отказом от мира, в котором невозможна сказка с возвращением, через смерть, к своему отцу, к преданиям и душе родного народа.

Прочерченное выше художественное осмысление проблемы преемственности поколений, связи/разрыва с отчей семьей, домом, с одной стороны, дало яркое открытие шестидесятников — появление «мятущегося», «инфантильного» героя, героя с угнетенным, подчас раздвоенным сознанием, с другой — соотносимо с важнейшей художественной рефлексией второй половины XX века о распаде «связи времен», о разрушении естественного, нормального потока жизни.

В одном из интервью Ф. Искандер на вопрос, почему у него нет произведения, в котором наконец-то встретились бы два его любимых героя — дядюшка Сандро и Чик, ведь они явно родственники, ответил, что боится это делать, поскольку не знает, кто кого перехитрит. Думается, в данном случае автор лукавит так же, как и его герои. Встреча Сандро и Чика на площадке одного текста невозможна, ибо они играют с социумом по разным правилам игры. Сандро — опираясь на трезвую мудрость нации, Чик — на наивно-реалистическую правоту детского сознания. Однако и того, и другого социум частенько «переигрывает», заставляя поступать по своим правилам. Единственный, кто мог бы быть связующим звеном между любимыми героями писателя, — это сумасшедший дядя Коля, отвечающий (вспомним формулу Довлатова) на абсурд жизни еще большим абсурдом.

Возникающая в России XX века префигуративная ситуация каждый раз разрешалась по-своему. В 1920-е годы конфликт «отцов и детей» буквально переносился на поле брани и разрешался в смертельной схватке. В 1930—1950-е была предпринята попытка внедрения «двойного отцовства» — кровное подменялось государственным. В 1960—1980-е годы литература была занята рефлексией по поводу результатов отказа от кровного, родного, человеческого, отказа, который в значительной степени изменил психологический портрет нации и завершился, в конце концов, крахом самой государственности.

## § 2. Тимур и Павлик: политический миф и реальность литературы

«Грубо сдвоить имена» — Тимур и Павлик — позволили следующие предварительные соображения.

Имена героя идеологического мифа советской эпохи и героя художественного произведения советской литературы стали нарицательными для общественного сознания почти одновременно: в середине 1930-х — начале 1940-х годов. В обоих случаях чуть ли не буквально по законам классицизма «текст породил жизнь» (Ю. М. Лотман). В случае с идеологическим деперсонифицирован-